

В.В. Розанов. Сумерки просвещения. 1899 г.

Важные цитаты

Странная антикультурность, на исходе XIX века самой великой в истории культуры, поражает в них: они не только не продолжают своего времени, не суть дети безумного в порывах своих "просвещения" XVIII-XIX веков; они и не принадлежат ни к какой другой эпохе, не сочувствуя и не понимая более ни одной из отживших культур.

Христианство с его высоким спиритуализмом, аскетическими подвигами, углубленной, святой лирикой, - ничего не говорит их сердцу, возбуждая или кощунство, или равнодушие, или слабые попытки его переиначить; его и того культа плоти, того самоуслаждения человека своей красотой, которым жила древность и что вспыхнуло и ярко засветилось на рубеже средней и новой Европы, в них нет не только как собственного чувства, но и как понимания чужого чувства. И нет никакого желания по уединенному труду, по героизму мысли, по отречению ради отыскания истины от всех утех жизни, последовать необозримому множеству тружеников на всех поприщах за три последних века.

Даже, не говоря о выдающемся, гениальном или героическом, - **среднее** становится не под силу этому потускневшему вдруг поколению. Удивительное дело: в ту пору, о которой, как и для нашей страны, для всей Европы можно было повторить, тысячу раз с несправедливым упреком повторенные, слова:

"Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь", -

удивительно, что в эпоху этого "немногого и небрежного" учения были люди столь истинного, столь высокого образования, о каком, тщетно и долго обращая глаза вокруг, каждый понимающий, что такое образование, начинает думать невольно как о золотом, манящем предании, которое ничем более не напоминает в действительности. И все это при массе всюду рассеянных точных сведений, при неутомимом труде над книгами, при самом ярком честолюбии именно на этом поприще снискать какие-нибудь лавры.

Никогда и никто не пытался связать это угасание в человеке всех высших даров с **самими орудиями**, которыми, по плану, готовится их пробуждение. Все и всегда, сознавая это угасание как ясный и точный факт, стремились найти причину его в слабости этих орудий, в том, что они недостаточно еще предотвращают от воспитываемых грубых влияний действительности, что "колба", в которой совершается таинственное образование нового человека, недостаточно "закрыта". Но самое легкое размышление могло бы предупредить это бесполезное искание причин не там, где оне: если орудия воспитания, оставляя желать многого в исключительности своего действия, все-таки действуют хорошо и столь продолжительное время - почему так мало в них силы сопротивления? Откуда это непостижимое явление, что и продолжая им подвергаться, и тотчас по окончании их действия, вновь изготовленные "Homunculi" так совершенно податливы на всякое **низменное** влияние, и только ко всему достойному, что встретилось бы им на пути, так безучастны?

Не в особенной притягательной силе этих низин следует видеть причину этого падения, но в **слабости крыльев**, которые не могут поднять над ними душу. Пора, в самом деле, предположить, что эти крылья, искусственно сделанные, искусственно же и прикреплены, а вовсе не выросли из души; и поэтому именно никуда, ни от какой опасности не могут уносить ее.

В постоянном, усиленном стремлении регулировать подробности, в непрекращающихся спорах только о них, о новых комбинациях предметов, о расширении или сужении их объема, о минутах, часах и точных во всем этом отчетах, была опущена общая основа дела, которая, раз обдуманная и решенная, никогда более не возбуждала сомнений.

И также, чтобы другое из питающего матерьяла мы ни взяли, - общее, что в нем окажется, будет **бессилие** оставить какой-нибудь след, как-нибудь повлиять, к чему-нибудь поднять душу. За

множеством деталей, за тщательным взвешиванием количества поступающих впечатлений, была опущена сама важная сторона в каждом из них: что лишь ничем не прерываемое, входя в душу свободно, неторопливо с ней взаимодействуя, оно оплодотворяет ее; тысячи же прерванных, оскопленных впечатлений оставляют ее **бесплодной**. Как это ни непостижимо, но идея Локка о *tabula rasa*, как о сущности души человеческой, свила себе гнездо в области, едва помнящей его имя и, быть может, к нему неприязненной, и, овладев практикой этой области, погубила бы ее, как погубила она и философию, если бы имела силу овладеть ею.

И между тем именно в этих вздутиях души, только ожидающих извне прикосновения, чтобы дать трещину и обнаружить свое содержание, и скрываются до времени и невидимо ее крылья, освободить которые из сдерживающей оболочки, **укрепить и научить ими управлять** - есть вся задача воспитания. Но здесь мы тотчас переходим к необходимости в нем индивидуальности: на одно и то же впечатление всякая отдельная душа ответит разное, и именно в меру того содержания, которое с ней послано в мир. И так как именно раскрыть это содержание должен воспитывающий, он никогда не должен обращаться с чем-нибудь значительным по смыслу к толпе, но всегда и только **к лицу**.

Действие закона этого (который как только нарушен – воспитания нет) и обнаруживается в том, что при усиленном, постоянном, но постоянно же прерываемом внушении определенных привязанностей, интересов, склонностей в школе, эти последние или вовсе не прививаются, или опадают тотчас, как только встречают потом в жизни малейшее себе препятствие.

Гладко, без затруднения, даже в полураскрытое внимание проскальзывают через учебники эти "сюжеты" всех наук, литератур, исторических эпох - все, над чем столько страдали ряды человеческих поколений, что они так трепетно любили и с таким доверием передали нам. Тот **"особый и облегченный" путь к науке**, о котором Эвклид сурово сказал своему государю, что "его нет и для царей", - этот путь открыт теперь для всякого, не требуя не только каких-либо особых напряжений мысли, но и простой любознательности в силу расставленных по нему приманок. Есть нечто непреодолимо **развращающее** в этом отношении к науке без соотношения с ней способностей, в постоянном узнавании без соотношения с ним любознательности, в этом многолетнем пожирании плодов с непосаженного дерева, и даже без вопроса, как трудно и долго оно росло, и кто и зачем его сажал.

Наука, быть может, в самом деле, есть самое достойное человека поприще; но не тогда, когда она тщеславно окружена, если она всем навязывается, - а когда остается сама собою, т.е. одной из самых трудных и поэтому уединенных сфер человеческой деятельности. И в истории она всегда была такою; но чего не смогли сделать преследования, ненависть к ней – побороть ее, то сделала **нерассудительная к ней любовь, развратив ее**. И в самом деле, как люди, без труда в нее углубляющиеся, не приносящие ей никакого дара, имеют только подобие просвещения, так и она сама, не принимающая более никаких жертв, стала лишь подобием когда-то строгой, уединенной, труднодоступной науки, и **свет ее тускл и ложен**. И думать, что хоть тень этого воспитывающего действия может произойти при изучении великих произведений с часовым циферблатом в руке, - есть заблуждение, которого, поистине, нельзя не назвать безумным.

Едва ли не этим следует объяснить отсутствие каких-либо привязанностей, цинизм в отношении ко всякой культуре, с каким подрастающие поколения всех стран.

"Было то-то и то-то, что я знаю, но зачем узнал - не знаю".

Это особенность современного образования, что, воспринимая лишь схемы всего действительного, что было прежде и существует теперь, воспитываемые не только ни о чем действительном не имеют понятия, но и имеют **ложное и наглое понятие**, будто бы все, но лишь без подробностей, они уже знают.

Мы выше сказали, что все удивляются, почему в момент, когда бы крылья уже должны быть выросшие и крепкие, души подрастающих поколений падают в самую непроходимую тину. Но, как и куда бы полетели они, никогда не поднимавшись высоко? Как не почувствовать им влечения к вульгарному, когда обо всем великом они узнали лишь **в вульгарных же формах, на вульгарном, скользком языке своих бедных "руководств"**, с вульгарными, деланными

восхвалениями или порицаниями и чаще всего, для краткости, даже без них. Поистине, фальшиво трескучая страница журнала покажется им согретою истинной теплотой сердца, когда даже этой фальшивой теплоты они никогда не знали в детстве и юности; все им покажется там серьезно, влекуще, потому что все и действительно серьезнее, привлекательнее, нежели не предметы их долгого воспитания - о, нет! - а орудия обращения к этим предметам, действие которых одних они и испытали, **самых же предметов не видели.**

Ни любители они древности, ни истинные христиане, ни самоотверженные искатели истины - они между всем этим, вне которой-либо из культур, т.е. не несут на себе более ни одной из них. От этого, при существовании у них смутного религиозного чувства, они не знают, удовлетворить ли его христианством или буддизмом; будучи довольно начитаны в новых книгах и помня еще много из старого, выдумывают новую мораль, удобно соединяющую то и другое. По самому воспитанию своему, по долгим годам привычки они склонны ко всему **эклектическому** и ни к какому сильному отрицанию или сильному утверждению.

Что переживает человек, умиленно где-нибудь, когда-нибудь, ни для кого не видно молясь, - этого оно (государство) не знает; и заслугу этого оно не признает по ясному, твердо очерченному, все измеряющему своему характеру. Так же точно и по той же причине для него неуловим и им остается не признан всякий художественный восторг, каждое умственное увлечение, все внутреннее, что мы невольно соединяем с образом воспитанного и развитого человека. Для признания и оценки всего этого ему нужно, чтобы оно было выражено в ясных, измеримых фактах: **в часах и минутах, у него на глазах проведенных в молитве, в запомненном поэтическом произведении, в количестве усвоенных знаний.** Как это ни удивительно, но этого истина: что **чрезмерно книжный, мозговой, исключительно номиналистический характер** воспитание всюду получило через направление его учреждением, вообще с книжностью не имеющим ничего общего, но в сферах, откуда оно берет свой матерьял, эта книжность есть все-таки единственно ощутимое для него, единственно измеримое, - хотя бы ему и ненужное, малопонятное. "Бежин луг" Тургенева, "Днепр" Гоголя - это ему нравится; но час, проведенный действительно на Днепре, или ночь, проведенная группой детей в лугу, за околицей, - это только праздность, почти достойная наказания.

При лучших успехах этого воспитания действительность, наконец, просто теряет интерес для воспитываемых, они сохраняют способность переживать ее лишь **книжно** - природу как предмет для поэзии, как напоминание о ней, жизнь - как предмет для размышлений, для теоретических выкладок. В них утрачивается вкус к самой жизни; даже понимая ее умом как главное, существеннейшее, они уже ощущают ее лишь как второстепенное, отражающееся в сознании. Таким образом, выходит, что самое деятельное и энергичное из созданий истории, взяв на себя несоответствующую задачу воспитания, порождает самое вялое в ней и бездеятельное.

Темны были в просвещении эти люди, когда, набрав немножко грамматики, немножко арифметики, прибавив к этому кой-что из географии и истории, думали, что с четырьмя своими книжками они внесут что-нибудь в душу, над изучением богатств которой трудятся первоклассные ученые; темны они были в путях истории, когда думали, что во всем разучившийся и ничему не научившийся наемник, придя в деревню с этими книжками, может начать в ней новое просвещение.

Собственно, что все это так - это давно уже и всеми понимается, кто хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь может понять. Но при верности основного взгляда на элементарную школу в подробностях и способах его применения может быть сделано много ошибок. Эти ошибки тотчас явятся при усилиях, при напряжении его провести, при страхе, что завтра не может быть сделано то, что не сделалось сегодня. Тогда сейчас пойдут бедственные программы, циркулирующие приказы, торопящиеся ревизоры и весь гам и сор административной техники.

Невозможно, **не следует устанавливать "от сих до сих" программы:** не приподняв худое, она закроет рост доброму. Пусть неумелый учит наименьшему, не нужно ради того, чтобы искусственно вытянуть его плохую работу и сделать ее совсем дырявой, предписывать и

даровитому только "среднее". Но раз в истории, в ее изгибе, уже сказалось усилие к просвещению, где можно и сколько может, - оно будет.

Нужно довериться этому темному оживлению, **нельзя над стражами поставить стражей** и ожидать, что, пока они смотрят друг на друга и на них всех - со страхом пастухи, драгоценные овцы разбегутся и расхитятся.

Только ценой потери внутренней культуры может быть приобретена культура внешняя, только перестав любить и понимать что-нибудь за пределами своего огорода, наш крестьянин начнет возделывать его, как немец или француз. Но от этого жадного выбирания из земли плодов ее, мы думаем, он невольно перейдет к желанию как можно меньше делиться ими; из-за форм интенсивного труда нам видится форма интенсивной, неплодящей семьи. От нее уже один шаг до "интенсивного человечества", до тайного, невысказанного **желания Мальтуса - об удалении лишних ртов человечества.**

Того ясного и твердого ответа, какой имеет для себя вопрос о типе элементарной школы, вовсе не имеет для себя вопрос о школе средней. Правда, он разрешен практически, но так, как задача о квадратуре круга решена учеными, населяющими Бедлам. Плоды, ею даваемые, несмотря на долгое питание горьким корнем, оказываются, к удивлению, также горьки. Их никто не хочет; государство, церковь, общество, наука, литература, наконец, сама школа с ее представителями, одинаково **в страхе от ужасающей "интеллигенции"**, которая ничего не понимает, ни к чему не привязана, ничего не чтит и, поедая все кругом, не думает о завтрашнем дне, когда ей самой придется умереть с голода.

Недостаток художественного воззрения на предмет есть коренной источник ошибок, допущенных в организацию воспитания и образования всюду - в Европе и у нас. От практического, от научного и всякого другого художественное воззрение отличается тем, что оно **не дробит свой предмет** и для него всякая часть имеет значение лишь в отношении к целому, насколько помогает его красоте и гармонии. Физиолог может интересоваться в организме лишь расположением и действием нервов, физик в природе - звуком или светом, и всякий практический человек - своим особым ремеслом. Но нет, и мы не можем представить себе - художника, который делал бы одни руки, следил бы за выгибом только спины; цельная статуя - вот что влечет его; цельный человек - вот что влечет **воспитателя-художника**, в отличие от воспитателя-ремесленника или от воспитателя-ученого, которые вечно трудятся над выработкой "ног" или "рук" без мысли о том, к чему они будут прикреплены.